

ЭМИЛЬ ЧОРАН

РАЗЛАД



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 1(091)(44)
ББК 87.3(4Фра)
Ч-75

Серия «Эксклюзивная классика»

Emil Cioran
ECARTELEMENT

Перевод с французского *Н. Мавлевич, Б. Дубина*
Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фerez*
Дизайн обложки *В. Воронина*
Печатается с разрешения Editions Gallimard.

Чоран, Эмиль Мишель.

Ч-75 Разлад : [сборник] / Эмиль Чоран ; [перевод с французского Н. Мавлевич, Б. Дубина]. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 160 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-183630-6

Чоран называл себя «секретарем собственных ощущений», наверное, именно поэтому его труд «Разлад» так похож на дневник человека с его горькими и гневными размышлениями о жизни.

Философ пишет о своем разочаровании в европейской цивилизации, отрицает возможность общественного прогресса, безжалостно критикует любые авторитеты и идеологии, обращается к первоисточкам, размышляет о буддизме и средневековой мистике, цитирует древнеиндийские книги и гностические евангелия, чтобы попытаться ответить на вопрос: что же будет с человеком после неизбежного конца истории?

УДК 1(091)(44)
ББК 87.3(4Фра)

© Éditions Gallimard, Paris, 1979
© Перевод. Б. Дубин, наследники, 2025
© Перевод. Н. Мавлевич, 2025
© Издание на русском языке AST
Publishers, 2026

ISBN 978-5-17-183630-6

ДВЕ ИСТИНЫ

«В садах Запада пробил час закрытия».

Сирил Коннолли

Гностическая легенда рассказывает о битве ангелов, в которой воинство архангела Михаила победило воинство Змия. Те же ангелы, что нерешительно наблюдали за схваткой, были сосланы сюда, на землю, чтобы сделать выбор, который не сделали на небе, и выбрать им тем труднее, что у них не сохранилось ни малейшего воспоминания ни о сражении, ни о своем малодушии. Выходит, что побудительной причиной истории послужило колебание, а человек появился в результате первородного сомнения и неспособности занять определенную позицию до изгнания. Сброшенный в этот мир, чтобы научиться выбирать, он обречен на случайные поступки и сможет выполнить свое предназначение, только если подавит в себе созерцателя. Если на небе нейтральность в какой-то мере еще была возможна, то земная история стала наказанием существам, которые до воплощения не сочли нужным примкнуть к тому или иному лаге-

рю. Тогда становится понятно, почему смертные так стремятся принять чью-либо сторону, так склонны сбиваться в группы, собираться вокруг какой-нибудь истины. Какова же эта истина?

В позднем буддизме, в частности в школе махаяника*, существует отчетливое различие истины абсолютной, или *парамартхи*, достояния свободных душ, от обыденной, или *санврити*, «замутненной», точнее «ошибочной», удела или проклятия скованных.

Абсолютная истина, не боящаяся ничего, даже отрицания всякой истины и самой идеи истины, — привилегия пассивности, привилегия тех, кто сознательно устранился из сферы действий и озабочен лишь одним: выпадением из реальности (не важно — мгновенным или постепенным), не сопряженным с каким бы то ни было чувством потери, ибо переход в нереальность, напротив, приносит несказанное блаженство. История для такого человека — всего лишь дурной сон, с которым он смиряется, поскольку никто не может выбирать наваждения по собственному произволению.

Чтобы уяснить, в чем смысл исторического процесса, или, вернее, уяснить, как мало в нем смысла, нужно согласиться с той очевидностью, что все выдвигаемые им истины ошибочны, а ошибочны они

* Первая философская школа махаянского буддизма, основана во II в. н. э. Нагарджуной. — *Здесь и далее прим. пер.*

потому, что приписывают содержательность пустоте, выдают мнимое за вещественное. Теория о двух истинах отводит место для истории, этого рая лунатиков, этого грандиозного наваждения, в ряду других фикций. Строго говоря, она не совсем лишена сути и смысла, ибо ее смысл — обман, она и есть *по сути своей обман*, универсальное, ослепляющее и облегчающее жизнь во времени средство.

Сарвакармафалатьяга... Когда-то, много лет тому назад, я написал большими буквами это волшебное слово на листе бумаги и приколот на стене у себя в комнате, чтобы весь день созерцать его. Оно провисело несколько месяцев, пока я не снял его, заметив, что все больше поддаюсь его магическому звучанию и все меньше вспоминаю о содержании. Между тем оно означает: *безразличие к результату действия*, — и важность его такова, что у того, кто по-настоящему проникнется им, не останется больше никаких стремлений, потому что он достигнет единственно стоящей из всех крайностей — абсолютной истины, отменяющей все остальные как пустышки. Впрочем, пуста и она сама, но, в отличие от них, эту пустоту сознает. Еще немного трезвости, еще один шаг к пробуждению — и сделавший его окончательно станет призраком.

Когда прикоснешься к этой — предельной — истине, то неуютно чувствуешь себя в истории, где намешано множество ложных, одинаково напор-

стых и, разумеется, одинаково иллюзорных истин. Прозревшие, пробужденные неминуемо оказываются немощными и не могут участвовать в событиях, ибо заранее знают, что все это пустая суета. Столкновение двух истин полезно для отрезвления мысли, но губительно для деятельности. С него начинается крушение — как отдельной личности, так и целой культуры или даже целого народа.

Пока пробуждение не наступило, мы проводим дни в беспечности, блаженстве, упоении. Когда же спадает пелена иллюзий, наступает пресыщение. Протрезвевшему от всего тошно; как всякий излечившийся фанатик, он больше не может выносить бремя химер, уродливых или симпатичных — все едино. Теперь он так далек от них, что не понимает, в силу какого помрачения мог ими прельститься.

Когда-то благодаря им он преуспевал и утверждался. Ныне ему так же трудно представить себе прошлое, как и будущее. Он растратил впустую всю свою энергию, подобно одержимым бесом перемен народам, которые развиваются слишком быстро и, отбрасывая одного идола за другим, в конце концов остаются ни с чем. Еще Шаррон отмечал, что во Флоренции за десять лет происходило больше потрясений и смут, чем в Граубюндене* за пять столетий, и делал вывод, что жизнеспособно то общество, где *дремлет* дух.

* Граубюнден — кантон в Швейцарии.

Архаичные цивилизации потому просуществовали так долго, что не знали страсти к обновлению и смене мнимых ценностей. Когда же шкала меняется с каждым поколением, об исторической долговечности нечего и мечтать. Древняя Греция и современная Европа — примеры культур, обрекших себя на преждевременную смерть своей жадной жаждой менять обличья и неумеренным потреблением богов и их заменителей. Китай же и Египет тысячелетиями млели в величественной косности. Как и африканские культуры до контакта с европейцами. Теперь эти культуры тоже под угрозой, потому что приспособились к чужому ритму. Утратив благотворную неподвижность, они все больше разгоняются и неизбежно придут к падению, как и образцы, которым они подражают, — скоротечные, неспособные протянуть больше десятка веков цивилизации. Народам, которые займут господствующее место в дальнейшем, достанется еще меньший срок: в истории замедленный темп всегда сменяется гонкой. Как не позавидовать фараонам и их китайским коллегам!

Установления, общества, цивилизации разнятся по масштабам и продолжительности существования, но все подчиняются общему закону, согласно которому источник неумеренной энергии — а именно ему они обязаны своим подъемом — со временем истощается и входит в русло, а как только исступление, эта главная движущая сила, остывает, наступает упадок. По сравнению с буйными перио-

дами роста закатная пора кажется нормальной, она и впрямь нормальна, даже чересчур, и это делает ее едва ли не столь же губительной.

Народ, достигший процветания, истративший все свои таланты и полностью истощивший свой гений, искупает этот успех бесплодием. Он выполнил свой долг и мечтает пожить спокойно, но, увы, этого-то ему и не удастся. Когда римляне — или их жалкие остатки — вознамерились отдохнуть, пришли в движение варвары. В учебниках, рассказывающих о нашествиях, говорится, что до середины V века германцы, служившие в армии и администрации империи, брали латинские имена. Ну а потом обязательными стали германские. Выдохшиеся господа, теснимые во всех областях, не внушали больше ни страха, ни почтения. Зачем было называться на их лад? «Повсюду царила убийственная сонная одурь», — писал Сальвиан, самый беспощадный обличитель античной культуры в последней стадии вырождения.

Как-то вечером в метро я внимательно огляделся по сторонам: все сплошь, включая меня самого, приезжие... Только двое или трое, судя по лицам, *местные*, они явно испытывали неловкость и словно извинялись за то, что затесались среди нас. Та же картина в Лондоне.

В наше время миграции происходят не как массовые переселения, а в виде постепенного проникнове-

ния: чужаки понемногу просачиваются в среду «коренных жителей», слишком анемичных и утонченных, чтобы опускаться до идеи «своей территории». Тысячу лет бдительно охранявшиеся двери распахнулись настежь... Когда подумаешь о долгих распрях между французами и англичанами, потом между французами и немцами, кажется, что все они, взаимно выматывая друг друга, старательно приближали общий крах, чтобы уступить место другим представителям человечества. Новое *Volkerwanderung* (переселение народов), как и в древности, вызовет этническое смешение, все фазы которого пока не предугадать. Глядя на эти разномастные физиономии, нельзя и помыслить о сколько-нибудь однородном сообществе. Сама возможность такого пестрого сборища — признак того, что у коренных жителей того пространства, которое оно занимает, не было желания хоть в какой-то мере сберечь свою самобытность. В Риме в III веке нашей эры только шестьдесят тысяч жителей из миллиона были латинского происхождения. Как только какой-нибудь народ выполнит возложенную на него историческую миссию, ему становится незачем сохранять свою самобытность, свою характерную внешность в хаосе разноплеменных лиц. Европейцы, господствовавшие в обоих полушариях, мало-помалу становятся всемирным посмешищем: им, худосочным, в буквальном смысле измельчавшим, уготована участь парий, дряхлых, слабосильных рабов, и только русские, *последние* белые люди,

возможно, этой участи избегнут. У них еще осталась гордыня, этот двигатель, нет, этот *стимул* истории. Нация, потерявшая гордость и переставшая видеть в себе смысл или главную ценность вселенной, сама себе отрезает путь к дальнейшему развитию. На свое счастье или несчастье — как посмотреть, — она *насытилась*. Честолюбец, глядя на нее, отчаится, зато созерцатель с червоточинкой в душе придет в восторг. Только продвинувшиеся до опасной грани народы и интересны, особенно для тех, кто сам не слишком обласкан Временем и заигрывает с Клио из желания наказать себя, заняться самобичеванием. Впрочем, этой потребностью продиктованы чуть ли не все человеческие начинания, как великие, так и ничтожные. Каждый из нас работает *против* собственных интересов; мы этого не сознаем, пока вовлечены в дело сами, но достаточно оглянуться назад, чтобы убедиться: во все времена люди боролись и жертвовали собой ради своего явного или потенциального врага — деятели Революции старались для Бонапарта, Бонапарт — для Бурбонов, Бурбоны — для Орлеанов... Так что же, история — это сплошное издевательство и у нее нет никакой цели? Есть, и не одна, а много, но она приходит к ним, двигаясь *в противоположную сторону*. Это явление универсальное. Мы достигаем обратного тому, к чему стремились; мы рвемся навстречу прекрасной лжи, которую сами себе выдумали. Вот откуда успех биографий, наименее скучного из несолидных жанров. *Воля* никогда никого не доводила

до добра: обычно то, чего добиваются упорнее всего, ради чего идут на самые большие лишения, оказывается более чем сомнительным благом. Это верно для писателей, завоевателей — для всех, кого ни возьми. Конец любого из нас дает не меньше пищи для размышлений, чем конец целой империи или конец человечества вообще, которое так гордится своим — с трудом приобретенным — прямохождением и так боится вернуться в исходную точку: закончить эволюцию таким, каким начало, согнутым и обросшим шерстью. Над каждым существом нависает угроза деградировать до первоначального состояния (не говорит ли это о тщетности его, да и любого, развития?), если же кому-то удастся этой угрозы избежать, то кажется, что он уклонился от выполнения долга, нарушил правила игры, из экстравагантности выбрав для себя другой способ падения.

Роль периодов упадка заключается в том, чтобы обнажить, разоблачить цивилизацию, разбить ее кумиры, избавить ее от привычки кичиться своими достижениями. Она получает таким образом возможность оценить свое прошлое и настоящее, увидеть бесплодность всех потрясений и усилий. И по мере отстранения от бредней, на которых основывалась ее слава, она все больше продвигается к осознанию реальности... к отрезвлению, к полному пробуждению, — словом, делает роковой скачок и вскоре вырывается из истории. Либо иначе: она оттого и просыпается, что уже

выпала из исторической колеи и потеряла лидерство. И так, сначала слабеют инстинкты, затем просветляется сознание, затем утверждается трезвость, а это означает раскрепощение сферы духа и атрофию сферы деятельности, в частности деятельности в истории, которая замирает на отметке «крушение»: кто обратил взгляд на собственную историю, тот так и останется удрученным зрителем. Мы машинально сопрягаем понятия «история» и «смысл», между тем это типичный пример ошибочной истины. Некий смысл в истории при желании можно найти, но этот смысл ставит под сомнение ее самое, отрицает ее в каждый ее момент, показывает ее смешной и жуткой, жалкой и грандиозной — словом, попирающей всякое представление о нравственности. Кто принял бы ее всерьез, не будь она прямой дорогой к гибели? Само то, что в обществе занялись историей, говорит о ее определенной стадии: как сказал Эрвин Райснер, историческое сознание есть симптом конца времен (*Geschichtsbewusstsein ist Symptom der Endzeit*). В самом деле, озабоченность историей приходит вместе с озабоченностью ее близким закатом. Богослов размышляет о жизни, *провидя* Страшный суд, человек, охваченный тревогой (или пророк), — *провидя* вещи менее эффектные, но столь же важные. Оба ждут катастрофы, подобной той, какую индейцы-делававары проецировали в прошлое: по преданию, в то время молились от ужаса не только люди, но и звери. Но, возразят мне, разве не бывает спокойных периодов?

Бесспорно, бывает, но это спокойствие всего лишь складный кошмар, *безукоризненная* пытка.

Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто понятие трагического приложимо только к отдельной личности, а не к истории. Это отнюдь не так: история не просто созвучна трагедии, но и проникнута ею еще больше, чем судьба трагичнейшего из героев, и за ее перипетиями следят с пристальным вниманием. Мы так увлечены ею, потому что инстинктивно чувствуем, какие неожиданности подстерегают ее в пути и на какие неподражаемые фортели она способна. Правда, для искушенного ума она добавит не много нового к общей неразрешимости и безвыходности. Да ведь и трагедия ничего не разрешает, потому что решать нечего. Угадать будущее можно лишь по недоразумению. К сожалению, нам нестерпимо положение полной неопределенности. Едва же события хоть немного проясняются, как мы впадаем в крайний детерминизм, в буйный фатализм. Свободным произволением людей объясняется лишь *поверхностный слой* истории, обличья, которые она принимает, какие-то внешние завихрения, но не глубины, не настоящий ее ток, который, несмотря ни на что, остается таинственным и непостижимым. Мы до сих пор даемся диву, как это Ганнибал после битвы при Каннах не двинулся на Рим. Сделай он это, и сегодня мы бы гордо именовали себя потомками карфагенян. Конечно, глупо

отвергать роль случая, прихоти, а значит, личности в истории. И все же каждый раз, когда оглядываешь всю картину, неизменно приходят на ум слова из «Махабхараты»: «Нельзя развязать узел Судьбы, ничто в этом мире не зависит от наших поступков».

Жертвы двойного обольщения, мечущиеся между двумя истинами, не в силах выбрать одну из них и тотчас не пожалеть о другой, мы слишком прозорливы, чтобы не утратить кураж, не остыть от иллюзий и от их отсутствия. В этом смысле мы похожи на Рансе*, оставшегося в плену у своего прошлого и посвящавшего годы отшельничества полемике с теми, кого сам же покинул, или с авторами вздорных книженок, в которых оспаривалась искренность его обращения и хулились все его дела, — вот доказательство того, что проще реформировать траппистский орден, чем отрешиться от своего времени. Точно так же легче легкого обличать историю и страшно трудно оторваться от нее: она окружает тебя и не дает о себе забыть. Она мешает окончательному прозрению, она та преграда, которую можно перескочить, только осознав ничтожность всех событий, кроме одного-единственного: самого этого осознания, поскольку лишь оно позволяет нам хоть на миг увидеть подлинную

* Рансе Арман Жан Ле Бутилье де (1625–1700) принимал активное участие в бурной жизни французского двора, позднее стал настоятелем траппистского монастыря, где провел жесткую реформу устава и нравов.

правду, то есть одержать победу над всеми ошибочными. Недаром Моммзен говорил: «Историк обязан, подобно Богу, любить всех и вся, даже самого дьявола». Другими словами, он должен отринуть все предпочтения и учиться полному самоустранению. Историк, сумевший встать вне времени, мог бы служить примером свободного человека.

Мы вынуждены выбирать между убийственной истиной и целительным враньем. И только такая — несовместимая с жизнью — истина достойна своего названия. Она выше того, чтобы отвечать чьим-то требованиям, и не снисходит до уступок смертным. Такие истины «бесчеловечны», сногшибательны, мы не приемлем их, ибо не можем обойтись без подпорок в виде догм или богов. Увы, во все времена именно иконоборцы или те, кто объявлял себя таковыми, чаще всего прибегали к басням и лжи. Как тяжело должен был заболеть античный мир, раз ему понадобилось такое грубое противоядие — христианство. То же происходит и с современным миром, судя по всеобщей жажде чудодейственных лекарств. Эпикура, самого нефанатичного из мудрецов, не жаловали ни прежде, ни теперь. Призывы к освобождению Человека общество обычно встречает с недоумением и даже со страхом. Да и как рабы освободят Раба? Так можно ли верить, что история, эта бесконечная цепь ошибок, способна тянуться еще долго? Час закрытия скоро пробьет во всех садах.